ДАВИД МАРКИШ

СЛОВО

© David Markish, 1984

ДАВИД МАРКИШ

„ЗА МНОЙ!"

записки офицера-пропагандиста

Тель-Авив
1984

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Вступление 7

2. Этот сладкий ветер риска... 11

3. "Фун Муне цу Шмуне" 21

4. Сказ о баране 33

5. Переход границы 39

6. Террористы и партизаны 45

7. Йонька 54

8. Бабочка, шалом! 65

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Нет-нет, речь здесь пойдет отчасти и о Ливане — но отнюдь не о вступлении в Ливан. Наше вступление в Ливан состоялось почти три года назад и носило идиллическое название "Операция "Мир Галилее". Потом это название набило оскомину и почти повсеместно было заменено на другое: "Ливанская война", начавшаяся, разумеется, с массированного вступления в Ливан. Что же до "операции", то, если уподобить Ливан живому организму (а он таковым и является в действительности), операция над ним может преследовать лишь оздоровительные цели. Удаление воспаленного аппендикса — это операция, четвертование или распиливание пополам — это совсем не операция. Это — война. Некоторые горькие остряки называли операцию "Мир Галилее" несколько иначе: "Война "Мир Галилее"... Итак, можно вступить в войну, можно вступить в дерьмо и в грязь, — что, как правило, одно и то же. Вступление в войну сопровождается "справедливым гневом" как вступивших, так и пытающихся воспрепятствовать вступлению. "Справедливый гнев" — это поначалу очищает помыслы и освящает убийство. Убивать под пиратским или разбойничьим флагом нельзя, убивать под флагом "справедливого

гнева" необходимо как можно больше. Только вот трудно определить, чей гнев более справедлив, а чей — менее: каждый гнет в свою сторону с упрямством, достойным лучшего применения, а диалог не слышен за грохотом стрельбы и взрывов. Зато проклятья слышны... Вступление в книгу о войне дело куда более приятное, чем вступление в войну или в дерьмо: взрывы не мешают и не отвлекает брань. Жаль, что диалог здесь подменяется монологом — но имеющий уши да услышит.

За всю свою кровавую и грязную историю человечество не придумало занятия более нелепого, чем война. Разумеется, не народы, объятые "справедливым гневом", выходят на войну — безответственные правители втравливают их в войны. Словесная мишура, окружающая военные походы, не изменилась с тех давних времен, когда в ходу были кожаные рубли и деревянные полтинники: "чистота оружия", "слава боевых штандартов"... О какой "чистоте оружия" может идти речь, если при помощи этого оружия один человек превращает в удобрение другого человека — совершенно ему незнакомого, к которому он не испытывает ничего, кроме абстрактной ненависти (оборотной стороны "справедливого гнева"), внушенной ему средствами пропаганды — иными словами, средствами оболванивания, находящимися в руках правителей! Человек может ненавидеть другого человека, с ним связанного тем или иным образом — но народ не может осмысленно ненавидеть другой народ: это противоестественно, а, следовательно, невозможно. И только развя-

занная правителями война, в законодательном порядке отменяющая понятие "нельзя", превращает целые народы в шайки озверевших разбойников. И какая разница, как быть убитому — с автоматом в руках или от ножа грабителя, вознамерившегося отобрать у тебя кошелек или пальто? И, так же как "справедливый гнев" равно присущ каждой из воюющих сторон, так и слезы, проливаемые друзьями по убитым, одинаково горьки. Кровь одинакова у всех, и слезы у всех одинаковы.

Сколько существуют войны, столько же существует и попытка устроить мир без войн. И ничего из этого не получается.

Мне кажется, что народы по простоте душевной верят в мир без войн, а правители народов, облеченные властью, не верят ничуть. "Война — продолжение политики". И правители спускают с цепи пса национальной гордости, и пес этот превращается в волка национальной исключительности. Первая кровь — и волк превращается в слепого тигра национальной спеси: "Мы лучше, умней, сильней других!" Следующий этап — война с соседями, вступление в сопредельные страны через границы, построенные на песке и из песка.

Я говорю не о нас — израильтянах. Я говорю о нас — людях, раскроивших мир на разноцветные лоскуты недолговечных политических образований и продолжающих кроить и перекраивать: "Это — мое, и это тоже мое!" А ведь все это — наше.

Войны ничему не учат, как и сама история не учит ничему. Вторая мировая война, уничто-

жившая шестьдесят миллионов жизней, привела к казни нескольких нацистских правителей, к разделу Европы и новому противостоянию сил. Почти все войны, разгоревшиеся после Второй мировой, в той или иной степени связаны с этим новым противостоянием. Связаны с ним и наши израильско-арабские войны, в том числе и последняя из них — ливанская.

На ливанскую войну в последний раз я явился в августе 1984, в качестве офицера-пропагандиста. Отслужив до этого десять лет в боевых частях и дослужившись до командира расчета 155-миллиметрового орудия, я чувствовал себя на сей раз бесконтрольно до изумления. Я был всецело предоставлен самому себе да ветреным обстоятельствам войны.

Офицерскую команду "За мной!" мне не пришлось применить — я ни разу не атаковал и не был атакован. Но теперь, сидя за машинкой в тель-авивском пригороде и заканчивая вступление к книге о ливанской войне, я хочу восполнить это упущение. Итак, за мной! За мной, читатель — и мы вступим в Ливан, минуем Перекресток Вод, оставим за спиной недоброй славы озеро Карун и упремся лбом в передовые позиции сирийцев в северной части долины Бекаа.

2. ЭТОТ СЛАДКИЙ ВЕТЕР РИСКА...

Ливан — вторая страна, куда я вступал без пограничных формальностей, без визы и вообще без паспорта. Первая была — Египет.

Вступление в Египет, одиннадцать лет тому назад, было куда более волнительным, прежде всего потому, что Египет — это, все-таки, Африка. Я, стало быть, вступал в Африку, в которой никогда прежде не был и о знакомстве с которой мечтает каждый нормальный человек. Интересней, конечно, было бы вступить и познакомиться с черной, Центральной Африкой, чем с арабской, Северной. Но здесь выбора у меня не было: Израиль воевал с Египтом, а не с Ганой. Пересеча Суэцкий канал, я ступлю на африканский берег. Африка! Таинственная земля детских сказок. Земля Гошен, откуда стартовала на родину орда евреев под началом неутомимого Моисея — там, за каналом. Земля жесточайшей в истории Израиля войны. Перешагнуть через канал — значит перешагнуть с континента на континент... За год до этого, сидя в Москве, в отказе, мне и в голову не могло придти, что в ноябре 1973 меня ждет вступление в Африку.

Понтонный мост через канал был видавший виды: шаткий, обшарпанный, исчирканный пулями и осколками, — и это почему-то оказалось

приятно. Хотелось вылезти из джипа и идти по этому боевому мосту пешком, а потом постоять немного и перебросить несколькими словами вон с тем солдатиком в кипе, который оперся о весьма условные перильца и ест себе мацу. Это, все ж, символично: хладнокровнейшим образом грызть мацу в земле Гошен, сегодня.

Африканский берег канала, собственно Африка напоминала наш военный городок где-нибудь под Ашкелоном. Египтян нигде не было видно: их солдаты погибли либо были взяты в плен, а гражданские люди бежали вглубь Египта, как будто из Синая нагрянули в страну Нила не евреи, а чума с холерой. При всей красоте и торжественности момента вступления по шаткому боевому мосту на соседний континент мне было, все же, чуть-чуть горько: совершенно непричемные местные жители бежали от нас, побросав свои дома, как от чумы и холеры. Но вскоре я как-то позабыл о местных жителях, потому что увидел в Африке множество интересных вещей, дотоле мне неведомых. Вот, например, пальмовая роща, которую как бы поразил одним махом гигантский палаш: каждое дерево перерублено примерно посредине, крона с верхней частью ствола валяется, а нижняя часть ствола торчит. Вид рощи дик и нелеп, и кажется, что вот сейчас из-за песчаного холма, на котором эта бывшая роща, покажутся какие-то наступающие инопланетные завоеватели, у которых вместо головы — нога, и колеса вместо ног: эти странные и отталкивающие существа и исковерканная артиллерийским обстрелом роща подошли бы друг дру-

гу. Обветренная смуглая степь за рощей сплошь в оспинах: это танки, сожженные прямо в капонирах, они как бы вплавлены в песок, как соринки в дымчатое стекло. Они приготовились встречать нас огнем в чистом поле, но были зажжены с воздуха. За танками, вправо от разметанной снарядами и гусеницами дороги, видна низкая крыша подземного бункера, в котором просторно и с удобствами разместился бы семиглавый дракон с семьей. Туда можно было бы без хлопот загнать полсотни танков и самоходок, спустить боевые и транспортные самолеты. Я никогда прежде не видал таких больших бункеров и не предполагал, что они вообще существуют на свете. "Такую штуковину можно разрушить только прямым попаданием атомной бомбы", — сказал мне про этот бункер сведующий человек... Выйдя из драконьего бункера, я обнаружил, что наступила ночь, настоящая африканская ночь, чернейшая, прекраснозвездная и безлунная. И тут я увидел картину, заслонившую все прочие картины, виденные мною в Африке, и запомнившуюся наиболее зримо и красочно. Черная степь предо мной до самого горизонта была густо покрыта тысячами золотых костерков, низких и трепетных. Черная степь, и в совершенной темноте полыхают золотые костерки, один рядом с другим, до самого горизонта. "Это солдаты варят ужин, — было объяснено мне. — Снабжение еще не налажено, кухни не подвезены". Черная степь полыхала золотыми огнями, и не видно было ни солдат, ни их танков и пушек. Так, быть может, выглядела степь, когда с темно-

той останавливалась на ночлег конная тьма Чингисхана: вся земля, куда только хватает глаз — в кострах.

С Ливаном все было иначе. Ливан — не Африка, и никакого нет между нами канала, а просто сразу за нашей Метулой начинается Ливан. И Моисей тут никогда не блуждал со своим строптивым стадом. И ливанские танковые клинья никогда не вгрызались в нашу землю. Причиною войны были, как всегда, поиски более прочного и надежного мира, а поводом — террористическое покушение на нашего посла Аргова в Лондоне. Поиски мира прискорбно затянулись и увязли в болоте, посол Аргов забыт. А я еду по Ливану. На голове у меня замечательная каска, в руках — прекрасный автомат, мою шею, грудь и часть живота защищает великолепный пуленепробиваемый жилет. В Африке жилета у меня не было вовсе, каска и автомат были плоше — а чувствовал я себя куда возвышенней. Это происходило, наверно, оттого, что был я на одиннадцать лет моложе и проживал в ином возрастном поясе. И еще оттого, что египетская Африка была пуста от египтян, в то время как ливанские деревни полны ливанцев, и эти люди смотрят на тебя — в лицо и в спину, вслед. В лицо они смотрят безразлично или заискивающе, в спину — угрюмо или с ненавистью.

Я не стану излагать мои ливанские впечатления во временной или географической последовательности: это ведь не дневник и не "Заметки путешественника". Я начну с линии противо-

стояния с сирийцами на Севере — с Северного бруствера, откуда невооруженным глазом видны города Захле и Штура. Там, на Севере, среди солдат срочной службы, я вдруг и себя почувствовал двадцатилетним и оборотился к тем временам, когда безоглядно и радостно рисковал жизнью на Памирских ледниках и кручах — ради этого живительного ветра смертельного риска, который и делает, с точки зрения двадцатилетних, мужчину мужчиной.

Передовая крепостица Кока* была воздвигнута на вершине обрывистого и высокого холма. Какой-то офицер в каком-то штабе придумал это название; укрепленная вершина не имела никакого отношения к кока-коле, ни, тем более, к кокаину. Никто из гарнизона Коки не сумел объяснить мне, чем обязана крепостица своему названию. Быть может, "наверху" решили сбить врага с толку. По той же причине, наверно, другое укрепление получило название "Суматра". Но и слово "крепостица" достаточно условно в этом сочетании — "крепостица Кока"; просто я не умею найти другое слово для обозначения этого плотнейшего сгустка боевой мощи на вершине холма. Продвинувшись вперед в части строительства оружия (еще один пример абсурдизма обкатанных словосочетаний: прогресс в производстве предметов убийства), человечество явно регрессировало во всем, что касается саперства и военного дизайна. И если Мономахов парадный кинжал с некоторой натяжкой можно было бы назвать

* Действительные военные названия заменены на вымышленные (авт.)

произведением искусства, то пистолет маршала Устинова едва ли подпадает под эту категорию. То же и крепости, и крепостицы: и в помине нет белых стен, полноводных рвов и подъемных мостов. Земляные насыпные валы, окружающие Коку, не призваны радовать глаз. Вместо подъемного моста поперек ворот стоит танк: если какой-нибудь безумец решит ворваться в базу на грузовике, начиненном взрывчаткой, он врежется в многотонную глыбу танка... Зато в Коке я увидел воочию, что значит "ощетиниться оружием". Так, верно, составив в круг боевые телеги, ощетинивались в старину копьями и дротиками. А здесь неровное кольцо вокруг вершины составлено из огневых точек, вместо копий торчат стволы всех видов оружия, матово-черные, длинные и покороче, голые и заключенные в кожухи — торчат как щетина на кабаньем загривке. Картина холодная, чудовищная, какая-то внеземная — и уж, во всяком случае, не имеющая никакого отношения к спокойному и мирному пейзажу: к зеленому склону холма, к солнечной долине, по скошенным полям которой бродят овечьи отары... И внутри крепостицы тесно от боеприпасов, оружия, и притаилась борзая свора бронетранспортеров. А вверх, в небо направлены какие-то рога, тарелки и чаши, построенные в соответствии с последним словом науки и техники; эти фантастические штуки принято с гордостью называть "электронные глаза", "электронные уши". Я помню другое — из доэлектронного века: "сердца пламенный мотор".

Мы тогда негодовали: бред! нелепость! пламенный мотор сердца — это принадлежность монстра, а не человека!.. Электронные глаза и уши — это из того же нелепого, страшного ряда. Электронный глаз без райка и зрачка, только из насыщенных холодным током проводов. Резиновый язык. Чугунный мозг... Ничего не скажешь, браво прогрессирует человечество. Человек с охотой, с восхищеньем уступает себя мотку медной проволоки.

На огневой точке — стальном скворешнике, насаженном на скалу и обращенном бойницею к сирийцам — нет ни тарелок, ни рогов. Есть пулемет с патронной лентой, плавно выползающей из зарядного ящика. Есть гранатки — в достатке. Есть портативный миномет. Есть всякие хитромудрые приспособления для поражения танков. Есть, наконец, автомат "Галиль" — личное оружие солдата по имени Халиль. Халиль обязан, в случае надобности, стрелять из автомата, пулемета и портативного миномета, пускать осветительные ракеты, кидать гранатки и поражать танки. Все это он умеет делать очень хорошо. Он — боевой парень в прямом, наконец, смысле этого слова.

Время от времени поглядывая в мощный бинокль, мы сидим с Халилем на ящике с гранатками, выкрашенными в больничный светло-зеленый цвет. Вечер. Горный воздух легок и свеж.

— Я бы этого Асада сам убил, — кивая на сирийские позиции, говорит Халиль. — Прицелился бы и — трах!

Халилю двадцать лет, он — друз, как и почти весь личный состав крепостицы. Деревня Халиля расположена где-то за Хайфой. А на сирийских позициях, в сторону которых кивает Халиль, сидят друзы из других деревень — из-под Дамаска или из-под Алеппо: там держит оборону друзский полк. Не знаю, как сирийских, но наших друзов эта дурацкая ситуация не шокирует: человек не собака, ко всему привыкает... А ведь вполне возможно, что как раз сейчас оттуда, с сирийских позиций, смотрит на нас в бинокль какой-нибудь родственник симпатичного Халиля, тоже парень симпатичный, жарко мечтающий прицелиться получше и застрелить, скажем, Арика Шарона.

— А правда, что в Москве за университет ничего не надо платить? — спрашивает Халиль. — И еще деньги на жизнь дают?

Прежде чем ответить на этот популярный вопрос, я вытягиваю из кармана гимнастерки пачку сигарет, угощаю Халиля и чиркаю зажигалкой.

— Кури в кулак, — роняет Халиль. — А то они, — кивок на сирийские позиции, — иногда стреляют по огонькам.

Я неспешно затягиваюсь, прикрываюсь ладонью от всей огневой мощи сирийской армии. Курить в кулак на огневой точке мне куда вкусней, чем лениво потягивать дымок в каком-нибудь тель-авивском кафе. Я вижу себя таким же вот солдатом на передовой, как этот Халиль. Мне сладко кажется, что мне двадцать, как ему. Риск уравнивает нас. И ветер с Джебель-

Барука пахнет Памиром — любовью моей жизни.

Там, на Памире, я рисковал двадцатилетним, четверть века тому назад. Коченея от восторга, я выслушивал историю о том, как ледник Федченко перемалывает людей в кровавый фарш в своих подвижных трещинах — и шел на ледник. Я карабкался на шеститысячник недоходя снежного перевала Тюя-Ашу — не имея ни опыта, ни снаряжения. В Заалайском ущелье, перед перевалом Терсагар, лошадь из-под меня ушла в пропасть, а я, уцепившись за камни, болтался над полукилометровым провалом — пока не посчастливилось мне дотянуться до арчового корня, гибкого и крепкого, как канат. Я рисковал. Никто не гнал меня на Памир — этот прекрасный полигон риска. Я рисковал по собственной воле, потому что хотел приблизиться к той грани, которая хрупко отделяет жизнь от смерти — приблизиться, но не пересечь. О том, что за гранью, я не думал ни мгновенья: безоглядный мой риск не имел ничего общего с самоубийством. Я желал испытать жизнь. Смерть я просто не принимал в расчет, как будто ее не было вовсе. Время Памира — памирской охоты, сумасшедших речных переправ, зимнего восхождения на Великий ледник, когда, протащившись полсотни метров, падаешь, задыхаясь, на оледенелый снег и вжимаешься в него лицом, вгрызаешься зубами — это время осталось лучшим, светлейшим и прозрачнейшим временем моей жизни.

Такой безоглядный риск — привилегия молодых. И не имеет значения, по какой причине

чувствуешь ты уверенный бег крови в жилах и слышишь гул жизни — ставя разбитую лыжу на темный наст над ледниковой трещиной или прикрывая ладонью огонек сигареты от пули, рыскающей в ночи. Вот почему, наверно, молодые — самые отчаянные, самые лучшие солдаты. А риск обдуманный, измеренный и взвешенный — это уже удел пожилых, это уже смелость, а не бесстрашие.

— Так как же там, дядя, насчет университета? — вдруг, как пуля, настиг меня вопрос симпатичного Халиля, годящегося мне в сыновья.

И, прежде чем начать, наконец, рассказывать об образовании в Советском Союзе, я поблагодарил судьбу за то, что она присовокупила к моему Памирскому времени эти несколько минут, когда я снова почувствовал, как тогда, бег крови и гул жизни.

3. "ФУН МУНЕ ЦУ ШМУНЕ"

Отправляясь на Ливанскую войну, я захватил с собой из дома три ломтя хлеба и луковку. Я хотел было запастись и солью, но потом отказался от этого гастрономического намерения: обойдусь без специй. Война, в конце концов, не ресторан и не дом отдыха. На войне быть бы сыту.

Верно, что израильский солдат сыт, если только он не придерживается голодной диеты. Армейские столы ломятся от всяческих ед: яйца и шоколадная паста, овощи и фрукты, мясо, маслины и хумус. Ешь что хочешь и сколько хочешь. В одной базе солдат в будний день кормили компотом из бананов и грейпфрутами, в другой я видел стол с надписью "Для вегетарианцев". Но мое участие в Ливанской войне никоим образом не было связано с сидением в базах. Напротив, мне было предписано много ездить, задерживаться в базах лишь на определенное, недолгое время. Выехав до завтрака с одной базы и приехав в другую после обеда, можно прокуковать на голодный желудок до самой ночи. Жизнь солдата на войне — в руках Бога, желудок солдата — в руках самого солдата. Поэтому я без раздумий сунул в карман нейлоновый пакет с хлебом и луковкой.

В армейском уставе ничего не говорится

о том, как солдату следует использовать карманы своих штанов. А карманов этих немало, они различной формы и различного объема, и разбросаны они по всей площади штанов — от колен до зада. Карман, выбранный мною, идеально подходил для двух целей: для хранения хлеба и луковки, для хранения запасной обоймы к автомату "М—16". Спасибо конструктору этих штанов, он славно потрудился. Карманы его произведения способны вместить значительно более того минимума, который необходим человеку на войне.

Итак, разместив в карманах документы, курево и зажигалку, пластмассовую бутылку с лекарством против язвенных болей, книгу Бунина "Темные аллеи" в мягком переплете, запасную обойму к автомату "М—16", ключи от квартиры, хлеб с луковкой, носовой платок и стопочку туалетной бумаги, я ехал в открытом джипе по деревушке на восточном берегу озера Карун. Голова моя, в соответствии с Правилами передвижения по Ливану, была защищена стальной каской, шею, грудь и часть живота прикрывал пуленепробиваемый жилет. В руках я держал великолепный автомат "М—16", который на том же Памире, употребленный против диких козлов, барсов и горных индеек-уларов, кормил бы меня, обувал и одевал круглый год. Жалко, что не было у меня на Памире автомата "М—16"... Солнце сильно припекало, в пуленепробиваемых доспехах было жарко. Хотелось снять тяжеленную каску и подставить мокрую от пота

голову встречному ветру.

По обеим сторонам узкой и извилистой деревенской улицы пестрели восточные лавки, набитые западными мерседесами и БМВ, радиоаппаратурой, сигаретами и бутылками кока-колы. На порогах лавок торговцы и их приятели попивали кофе. Полуденная жара располагала к лени и сну. Навстречу нам проехал трактор на высоких колесах. За рулем трактора сидел усач в длинной белой рубахе, держа на коленях охотничью двустволку. Едва ли в его планы входило пострелять в поле зайцев или куропаток, едва ли... Возможно, усач собрался подшибить, строптивого соседа, а, может, прихватил ружье просто так, на всякий случай: береженого Бог бережет.

Джип переваливался и подпрыгивал на выбоинах дряной дороги. Встречные машины поспешно сворачивали на обочину, освобождая нам путь. Я просторно расположился на заднем сиденье, около рации. Передо мной, рядом с водителем, сидел за пулеметом молодой лейтенант срочной службы.

— Они тут все друг в друга стреляют, — полуобернувшись ко мне и поводя стволом пулемета из стороны в сторону, сказал лейтенант про усатого тракториста. — Палят, кому только не лень... Бедный народ.

Навстречу нам попалась группка деревенских парней и девушек, праздно идущих. Парни были в расстегнутых рубашках, девушки в легких летних платьях, с открытыми по плечи руками. Рядом с ними мы в своих жилетах и касках,

с пулеметом и автоматами, были некстати в этот зной, на деревенской улице, — как если бы тут вдруг появился крестоносец с двуручным мечом, в железных штанах и шлеме-наморднике.

— Феллини, — пробормотал оценивший ситуацию лейтенант за пулеметом. — Ну, просто Феллини...

Весьма возможно, что эти деревенские молодые люди никогла не слышали имени Феллини и ничего не знают про итальянский кинематограф. Но как они — со своих позиций — расценивают появление закованных в ультрасовременные доспехи, изготовившихся к бою чужеземцев в своей деревне? Чужаков в раскаленных солнцем железных шапках, в чудовищных костюмах, неподходящих ни к какому времени Божьего года? "Бедный народ"... Эти слова я слышал не раз от солдат и офицеров, от сефардов и ашкеназов.

За деревней дорога выпрямилась, пошла меж каменистыми заброшенными полями. Озеро лежало слева от нас, на дне неглубокой горной долины. Здесь,на озере, в начале кампании шли тяжелые бои, дорого нам обошедшиеся. Западный гористый берег, крутой и зеленый, был куда красивей. Там, среди виноградников и садов, белели стены вилл и роскошных рыбных ресторанов. Там была "ливанская Швейцария" — обязательная принадлежность всякой страны, не имеющей ничего общего с истинной Швейцарией. В "ливанской Швейцарии' проживали, как будто, приверженцы покойного Ба-

шира Жмайеля, но ездить там было опасно, опасней, чем по восточному берегу озера, а в рыбные рестораны мы давно перестали ходить по разным неинтересным причинам.

К северу от озера Карун долина постепенно расширялась, холмы по ее обочинам понемногу превращались в горы. То и дело встречались наши базы и базочки, крепости и крепостицы разных родов войск. От одной к другой мне и предстояло ездить, пользуясь всеми мыслимыми видами транспорта: джипами и командкарами, бронетранспортерами и сафари, грузовиками, бронированными каретами Скорой помощи и автолавками. Эта бесконеная езда "Фун Муне цу Шмуне" представляет собой наиболее противное предприятие на нынешнем этапе Ливанской войны. Общеизвестно, что пускание поездов под откос — одно из самых популярных и любимых действий заинтересованной стороны. Без пускания поездов под откос современная война просто немыслима. Но в Ливане железная дорога не функционирует, и заинтересованная сторона, лишенная, таким образом, классической возможности, все свои усилия сконцентрировала на минировании дорог и нападениях на движущиеся по этим дорогам средства транспорта. Перспектива быть подстреленным, как утка, во время очередного переезда "от Муни к Шмуне" меня ничуть не привлекала. Понимая патриотические устремления налетчиков, я, тем не менее, не желал оказаться их целью. Двусторонний "справедливый гнев" мог продырявить меня в рабочем порядке.

Но отсиживаться в базе было оскорбительно и скучно.

В крепость "Санаторий" мы прибыли около двух часов пополудня. Крепость стояла в чистом поле и представляла собой недостроенную больницу. Четырехэтажное здание было уже подведено под крышу и поделено на клетушки-палаты. Был и пол, выложенный кое-где плиткой. Не было: окон, дверей, воды, электричества и лестничных перил. Стены крепости были наредкость густо изрыты следами пуль. Во дворе стояли бронетранспортеры и танки. На плоской крыше — этой союзнице военных людей — громоздились нейлоновые мешки с песком и были оборудованы два наблюдательных пункта.

В крепости было малолюдно: большая часть гарнизона выступила на полевые учения. Оставив спальный мешок, пуленепробиваемый жилет и каску в одной из несостоявшихся палат, я отправился на рекогносцировку. Несмотря на то, что час был определенно послеобеденный, мое будущее меня не заботило: пакет с хлебом и луковкой, приятно оттопыривающий карман, внушал уверенность если и не в завтрашнем дне, то в сегодняшнем вечере.

Танки с опущенными орудейными стволами имели вид угрюмый и значительный. Лучшие в мире — ими, следовательно, могло восхищаться и гордиться все человечество. Они способны наносить наисильнейшие удары — и наисильнейшие же удары выдерживать. Множество замечательных приспособлений прикреплено к броне этих танков — приспособлений улавливаю-

щих, стреляющих и комуфлирующих. И среди всех этих научно-технических чудес простолюдинкой затесалась присобаченная к боку неприступной башни обыкновенная лопата. Выгнутый ее штык с глубокой ложбинкой посредине трогательно напоминает человеческий зад. И этот зад чуть-чуть очеловечивает весь танк. Если б у меня был собственный танк, я бы прикрепил к нему две лопаты — по одной с каждой стороны башни.

Танки были пусты, как консервные банки. Их экипажи были неразличимы среди редких солдат, слоняющихся по этажам крепости: без шлемофона мальчик-танкист ничем не отличается от любого другого мальчика.

Обследовав двор и левое крыло больничного корпуса, я спустился в полуподвал. Лестница, ведущая туда, была сильно повреждена, засыпана каким-то мусором и утоптанной землей. Держась стены и приволакивая ноги, чтоб не свалиться, я разглядел в темноте бледный свет и пошел на него. За поворотом коридора, похожего на подземный ход, обнаружилась столовая с кухонькой. Молодой солдатик срочной службы беспечно гремел оранжевыми пластмассовыми тарелками, чисто вымытыми.

Проанализировать и оценить обстановку не составило для меня труда: мясной обед был закончен. Цвет тарелок говорил о недавнем их животном наполнении, о прочем повествовали непросохшие еще после споласкивания столы. Солдатик — йеменский еврей — с любопытством поглядывал на мои погоны: офице-

ры-пропагандисты, как видно, появлялись здесь не слишком часто.

— Мир тебе! — приветствовал я солдата. — Осталось что-нибудь от обеда?

— Только что мясо выкинул! — огорченно сообщил солдатик. — А вы лекцию будете читать? Про что?

— Про изящную словесность, — не стал я вдаваться в подробности. — С утра ничего не ел. Чашку кофе только выпил — и все...

— А у нас сегодня шницели были, — информировал безжалостный солдатик.

Сев за стол, я вытащил из кармана мою еду и сколупнул ногтем шкурку с луковки.

— Вы будете это есть? — потрясенно спросил солдатик.

— Конечно! — подтвердил я, вгрызаясь.

Солдатик смотрел потерянно.

— Хлеб и лук — основа жизни, — дал я пропагандистское разъяснение. — Ну, еще чеснок... Все остальное: шницели, хумус, шоколадные конфеты — это все приятные, но необязательные дополнения. Так запомни: хлеб и лук!

Мне было приятно, что я со своим харчом произвел такое потрясающее впечатление на йеменца. Такое же чувство легкого, снисходительного превосходства я испытывал, сообщая какому-нибудь русскому человеку, что я — первый еврей, поднявшийся на гидрометеостанцию "Ледник Федченко", к тому ж зимой.

— У меня тут компот, абрикосовый, — предложил йеменец. — Только ложки нет...

— Ложка нужна сытому человеку, — охотно

откликнулся я. — Голодному человеку ложка не нужна.

Тут я заметил сбоку от плиты картонки с яйцами.

— Дай-ка мне парочку! — попросил я солдатика.

— Маргарин заперт... — пробормотал не совсем еще оправившийся от потрясения йеменец.

— Ничего, давай! — потребовал я.

Надколов головки, я выпил яйца сырьем, одним глотком, как пьют водку. Йеменец неотрывно глядел на меня, плотно сжав губы. На его смуглом лице блуждало отвращение, как будто "руси" тут пил по-дикарски кобылье молоко.

И это восторженное отвращение было мне наградой.

Восстановив съеденный запас хлеба и лука, я в превосходном настроении отправился знакомиться с правым крылом крепости. Здесь помещались призванные на очередные сборы солдаты резерва — преимущественно отцы семейств, люди, отягощенные неприятным и скорбным знанием жизни. Иные из них, не теряя даром послеобеденного времени, храпели в своих комнатах, а другие играли в национальную игру шеш-беш. Среди игроков в шеш-беш я отметил несколько человек с московскими и рижскими лицами и порадовался: выходцы из России абсорбируются в районе весьма успешно, следующей ступенью будет ношение фесок и игра на зурне.

Один из дверных проемов был закрыт фанер-

ным щитом с русской надписью на нем "Бляди, вытирайте ноги!" и дилетантскими рисунками фривольного содержания. Я потянул щит и вошел. На десятке коек, на разостланных спальных мешках, лежали средних лет и пожилые евреи. Их подсумки и пуленепробиваемые жилеты были привольно разбросаны по комнате подобно нижнему белью и легкомысленной ситуации.

— По-русски здесь говорят? — спросил я с порога.

— Говорят, говорят... — приподняв с лица старый номер "Советского спорта", откликнулся один из солдат. — Заходи. Ты откуда?

— Из-под Тель-Авива. А вообще-то из Москвы.

— А я из Вильнюса, — сказал солдат. — Лева... Кофе будешь?

— Кофе? Ну, конечно! — согласился я. — А что это вы тут написали "Вытирайте ноги"? Сухо ведь!

— Это не мы, — сказал Лева. — Это еще зимой написали, когда грязь была.

Я бывал в этих местах и зимой, грязь здесь, действительно, адская.

Солдаты ворочались на своих мешках, прислушиваясь к разговору. Мы легко перезнакомились. В армии, как в тюрьме, свежий человек всегда вызывает интерес.

— Ты меня извини, — прихлебывая кофе, сказал Лева, — ты ведь вроде как политрук... Ну, так скажи: сколько мы тут, к чертовой матери, будем сидеть? Я имею в виду — в Ливане.

— Да я-то почем знаю? — сказал я. — Сколько ты, столько и я. Что я, премьер-министр, что

ли? Да и он тоже не знает.

Эта тема волновала солдат куда живей, чем изящная словесность.

— Сколько надо, столько и просидим, — пробасил из своего угла здоровенный парнище с сержантскими нашивками на рукаве. — Нас не спросят.

— Это уж точно, — принял сержантскую точку зрения рядовой лет сорока, по имени Фройка. — А людей пока что каждый день колотят, даже привыкли уже.

— Привыкли, пока самих не зацепило, — проворчал сержант. — Членов Кнессета бы сюда, в Санаторий, и на сафари покататься...

— А по-моему, надо международный закон ввести, — сказал Фройка. — Если кто кого убил — на войне или как, это неважно — такого человека под суд отдавать. Тогда порядок будет.

— А что, идея не такая бредовая, — откликнулся со своей койки университетский преподаватель из Иерусалима, с желчным и острым лицом. — Всякое убийство приравнять к уголовному преступлению... В этом что-то есть!

— Кто на это пойдет? — сердито спросил сержант.— Ты, я...

— В том-то и глупость, что никто не пойдет, — расстановочно проговорил иерусалимец. — А жаль. Казалось бы, чего проще додуматься...

— Да ладно вам... — махнул рукой Лева. — Пульку, что ли? — и взглянул на меня вопросительно.

— Я в преферанс не умею, — сказал я. — Вечерком еще заскочу.

— Мы через полтора часа на стрельбы, — сказал Фройка, замурлыкал что-то под нос и потянулся рукой под матрас, за колодой.

А я поднялся прогуляться на крышу, к наблюдателям. Стреляные гильзы валялись на крыше, раздавленные жестянки из-под кока-колы. Что бы такое привезти из Ливана в подарок сыну? Пожалуй, гильзу.

Выбрав гильзу поблестящей, я уселся на мешок с песком и положил автомат на колени. Предвечернее солнце мягко высвечивало желто-зеленую долину: зеленые сады и бахчи, желтые квадраты и прямоугольники скошенных полей. А над тихой теплой землей, невысоко, клубилась стая птиц, похожих на журавлей — крупных, белых, с широкими крыльями, обведенными по одному краю черной полосой. По золотистым полям, свесив головы, медленно струились стада черных коз и коричневых овец. А птицы скользили, распластав крылья, клубились, кружились серебряным с чернью обручем — никого не ловя и не глотая, просто так, ради собственного удовольствия, как будто катались на большой стеклянной карусели.

4. СКАЗ О БАРАНЕ

Оборонительные укрепления всегда располагаются на высотах — это, кажется, неукоснительное правило военного искусства, если только у искусства есть правила, а военные действия можно отнести к миру искусств.

Так или иначе, но нейтральная полоса начиналась в полукилометре под нами. Склон горы был скалист, окутан колючей проволокой и заминирован. Между подножьем горы и нейтральной полосой, на узком языке земли, стояло несколько домиков местных жителей. То были хуторяне, а, может, они просто поселились на отдаленной окраине деревеньки. К северу от обитаемого языка торчало еще с пяток домов, и около одного из них даже стоял красный грузовик — но там никто не жил, жить там было запрещено. Там была нейтральная полоса, нашпигованная минами и простреливаемая с обеих сторон, с нашей и с сирийской. Забрести туда могло разве что животное или безумец.

Противопехотная мина, напоминающая чем-то детскую игрушку, и противотанковая, похожая на большую кастрюлю со смертью — это, в сущности, ловушки: наступил — и попался, который кусался. В седые времена наши уважаемые предки тоже устраивали ловушки: рыли ямы, в дно ям вгоняли заостренные колья. Сверху

сооружение маскировалось ветвями. Иногда — в зависимости от стратегического замысла — на маскировочные ветви помещалась привада. Славная ловитва: наступил — и попался, который кусался. И вот урчит в горшках свежая убоинка, и плечистый начальник дарит своей девушке очередную тигровую шкуру... Прошло время ловитв, да и время битв тоже прошло-проехало; наступила эпоха запрограммированного взаимоуничтожения. Простодырые предки со своими ямами, шкурами и плясками! Нынче замаскированная мина, присыпанная песочком и камушками, а то и прикрытая веточками, нацелена не на дичь, а на охотника. Охотник, таким образом, стал дичью, которую ни съесть невозможно, ни пустить на шкуру. И чем мина для какого-нибудь наступившего на нее Рабиновича лучше, чем атомная бомба?

Нейтральная полоса нашпигована минами, как баранина чесноком.

Выселки под нами, на берегу нейтральной полосы, обитаемы: бегают и гомонят дети, покуривают взрослые. С наблюдательного пункта, в большой турельный бинокль видно, как какой-то Абдулка или Мухаметка сосет палец, лежа в своей люльке в углу двора, в теньке.

— Гостей ждут, — отрываясь от окуляров, говорит Нир, наблюдатель. — Барана сейчас будут резать... Бедный народ, чтоб я был здоров: сидеть на минах и звать гостей!

В бинокль мне виден ливанец, сидящий на корточках. Перед ливанцем лежит на земле баран, ливанец связывает ему бечевкой ножки,

одну оставляя свободной. Ливанец сидит ко мне спиной, и мне кажется, что это мой друг Кадам, барсолов из памирского кишлака Золотая Могила. Но если это Кадам, и он собирается зарезать барана в честь моего приезда к нему в Золотую Могилу, то я, выходит дело, должен находиться рядом с ним, держа в руках эмалированную мисочку для стока бараньей крови — а не подглядывать за ним в турельный бинокль с наблюдательного пункта крепостицы Суматра.

— Барана даже зарезать не могут, — ворчливо замечает Нир. — Нож тупой... — Он, Нир, может, состоит членом Общества по защите животных, а, может, просто не любит арабов. В конце концов, арабы нас тоже не любят. Никто нас почему-то не любит.

— Ты, что, пробовал его, что ли, нож? — не отрываясь от бинокля, говорю я. — Не бойся, они не дурей нас. Сейчас мисочку под горло подставят, зарежут, спустят кровь, а потом за свободную ножку подвесят на рогатку, вон она торчит, рогатка.

— А ты откуда знаешь? — недоверчиво спрашивает Нир, легонько отпихивает меня от бинокля и приникает, всматривается. — Верно, миску какую-то подлаживают!

Откуда я знаю! Да как же мне не знать, если я сколько раз сам подлаживал миску, сколько раз, уперев колено в бараний бок и нащупав нужное место на шее, проводил острым, как бритва, ножом! А рядом, у рогатки, стоял, поглядывая одобрительно на мою работу, Ка-

дам или другой человек, по дружбе доверивший мне это ответственное дело — в высокогорных кишлаках Памира или Тянь-Шаня. И вот — готово, и я слышу за спиной: "Ай, молодец, Даудбек!". И я с благодарностью готов поверить, что, действительно, сделал все, как надо.

Я гляжу на ливанца, подвешивающего зарезанного барана на рогатку, и испытываю к нему необъяснимую симпатию. Почему, в конце концов, именно он, поужинав бараниной, должен взять базуку и выстрелить в мой джип? Но, может, и он...

Кадам — тот бы не выстрелил ни за что, ни за какие деньги. Мы с ним были друзьями: я, московский еврей, и верующий мусульманин Кадам из кишлака Золотая Могила. Этот кишлак стоит на хорошем месте — сто километров надо ехать оттуда верхом в ближайший поселок за спичками или керосином: в Золотой Могиле лавочники, слава Богу, еще не завелись. В Золотую Могилу ведет по чертовым кручам тропа, неприметная для чужака. В Золотой Могиле не забыли пока, как обращаются с "бусурманскими спичками" — огнивом, и если вышел весь керосин, то всегда можно запалить фитилек в плошке с растопленным киичьим жиром. И, самое главное, нет в Золотой Могиле ни милиции, ни партийной организации, ни самой советской власти. Без спичек и без советской власти, на берегу Великого ледника, кишлачники обходятся с большой легкостью.

Если б я не был Давидом, я бы хотел быть Даудбеком из кишлака Золотая Могила.

Все это просвистало, просквозило в моем сердце, когда я глядел на ливанца, разделывавшего тушу барана во дворе своей кибитки.

— Зачем он его подвесил? — спрашивает Нир. — Ну, барана?

— Свежевать удобней, — объясняю, — шкуру снимать. И потрошить.

К нему придут гости, к ливанцу — другие ливанцы, и они будут есть мясо на краю минного поля. А мы, евреи, будем смотреть на них в бинокль. Нас разделяют пятьсот метров, которые можно преодолеть без труда — и вражда, конца которой не видно и в бинокль. Интересно, пойдет ли этот ливанец, поужинав, стрелять и бросать гранаты в мой джип? Ливанец, который точно, как Кадам, сдирает с барана шкуру: подрезая ножом, помогая себе ребром ладони.

— Ты пошел бы туда в гости? — спрашиваю я Нира, кивая на дом и двор под нами.

— Глупости! — отмахивается Нир.

Да, глупости. Ливанец не позовет нас, потому что мы для него — захватчики. Мы не пойдем к ливанцу, потому что он для нас — враг, к тому же араб. "Все арабы — враги". "Все евреи — враги". Это просто и доходчиво, это не требует доказательств. Это сплачивает дураков. Это подогревает "справедливый гнев" и приукрашивает торгашескую демагогию политиков... А мы-то тут причем? Да **нипричем!**

...Я ездил на мусульманский Памир не только за свободой, риском и бараньим бешбармаком*. Я выдумал привлекательную для себя историю:

* Бешбармак – национальное киргизское блюдо.

мусульманские мужики куда ближе мне, еврею, мужиков русских — и географически, и духовно, — как, скажем, пальма мне ближе березы. Эта история хорошо укладывалась в мою жизнь. Я по нескольку раз в год ездил в Среднюю Азию, колесил по пустыням и горам, выучил с полсотни имен местных людей, для чужака почти непроизносимых и незапоминаемых. Эти местные люди относились ко мне хорошо, по-дружески, они давали мне сильных лошадей и место в юрте. Я заслужил у них имя Даудбек, имя молодецкое — Давид-всадник. Они верили в Аллаха, а я верил, что пробьюсь в конце-концов в Израиль и найду там, рядом с евреями, таких же замечательных друзей-мусульман, которые будут мне куда ближе, чем сермяжные русские мужики... Здесь мусульмане другие, и другие евреи. И диванец не позовет нас в гости, и мы ливанца не позовем.

— Бедный народ... — вздыхает за моим плечом Нир, и непонятно, что он имеет в виду: то ли неумение ливанца управиться с бараном, то ли сидение его на краю минного поля, посреди своей земли.

5. ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ

Я никогда не встречал человека, который бы относился к этому понятию — граница — с любовью. Граница — это запрет, ловушки и лагерная колючая проволока, это тюрьма, увечья или смерть для того, кто хочет границу пересечь по собственному желанию, — в Советском Союзе. Граница — уродливая стена со стрелка́ми и самострелами, — это в Германии. Граница — вежливые и непреклонные таможенники, шмонающие твою машину в поисках лишней бутылки вина или куска сыра, — это в свободной Европе. Это река, которую переплывают, рискуя последним своим достоянием — жизнью — нелегальные иммигранты. Это приманка для преступников, это надежда для гонимых. Это никчемная, вредная выдумка, служащая постоянной причиной для раздоров и разрушительных устремлений правителей — линии зыбкие, стыки непрочные. Это принадлежность политических карт, а не разума или сердца человека.

Граница между Сирией и Израилем, проходящая к северу от озера Карун, дело совсем уж особое и исключительное: граница эта проведена двумя государствами по территории третьего, формально независимого, обладающего флагом, гербом и прочими игрушками для взрослых. Узкая нейтральная полоса лежит между окку-

пированным Севером и оккупированным Югом Ливана. Сами ливанцы имеют к создавшейся ситуации отношение самое что ни на есть косвенное. Более того, на территории своей собственной страны, на земле своей родины они являются как бы никчемным балластом в затянувшемся противоборстве между нами и сирийцами. Они мешают всем: и нам, и сирийцам, и палестинцам. Сдавленные жерновами чужой войны, они под шумок дерутся друг с другом — сводят давние и новые счеты. Само их присутствие на земле Ливана причиняет дополнительные хлопоты, почти ничего не давая взамен.

Но они живут здесь, ливанцы, и с этим фактом приходится мириться. Как и с тем, что время от времени им взбредает в голову тащиться с Севера на Юг, а также и в обратном направлении — в гости к родственникам, например. Для этого приходится пропускать их через нейтральную полосу и границу — с малыми детьми и ветхими стариками, с чемоданами и сундуками, с баранами и козлами. Весь этот беспокойный табор следует обработать, проверить, оформить. Сначала их мурыжат на северном контрольно-пропускном пункте, потом на южном. Между пунктами лежит нейтральная полоса, которую они должны пересечь пешим ходом. А жарко. А нервно. А обидно... И так уходит полдня.

Операция, именуемая "переход границы", начинается на рассвете. Сотни автомобилей с ливанцами, по тем или иным причинам желающими попасть на юг своей страны, скапливаются на

шоссе, перед границей. Границей между кем и кем? Между ливанцами и ливанцами? Между мусульманами и христианами? Между нами и сирийцами? Или, если глобальней, между двумя противоборствующими силами, неизмеримо более мощными, чем мы и сирийцы, вместе взятые — между Советами и Западом? Все это верно, и до всего этого нет дела вон той ливанской старухе, ковыляющей по дороге с мешком на голове. Она глядит перед собой и чуть вниз белесыми индюшачьими глазами, она даже самой себе, наверно, не задает вопроса, почему это она должна переть пешком со своим мешком, вместо того, чтобы ехать на автобусе или на ишаке. Впрочем, может быть, и задает — это просто мне не хочется, чтобы она задавала: ответ на этот вопрос не сделает нам чести...

Они более похожи на беженцев, чем на путешественников, эти ливанцы. Километра полтора должны они протопать пешком, с кладью. Это обременительная прогулка и оскорбительная. Они идут молча, глядят устало или сумрачно. Не слышно ни шуток, ни смеха. Дети не шалят, понуро плетутся рядом с родителями. Знакомая мне по советской Средней Азии, характерная для Востока картина: впереди идет молодая жена, ловко балансируя большим чемоданом на голове, следом за ней тащится пожилой тучный супруг — налегке, с жениной лакированной сумочкой в руке. Это, собственно, не совсем по правилам: супруг должен идти впереди — но ситуация, как видно, настолько неприятная, что тут уж не до правил. А может, тол-

стяк просто устал и еле тянет ноги... Миновав пешеходный отрезок пути и проделав все необходимые формальности, ливанцы скапливаются на окраине деревеньки, расположенной уже на "нашей" территории. Они толпятся на дороге и на ее обочинах, то ли поджидая отставших, то ли по иной какой-либо нужде. Их тут человек 300—400, и еще новые подходят.

Держа путь с юга на север, я въехал в эту деревеньку в открытом командкаре. Я сидел в кузове, на откидной скамейке, прислонясь спиной к бортовым перильцам. Перед нами, в двух десятках метров, шел джип командира батальона. Сбросив скорость до минимума и непрерывно сигналя, мы въехали в толпу, как в густое вязкое вещество. Люди расступались перед машинами медленно, не то, чтобы нехотя, но и безо всякого желания, — покорно, но не предупредительно. И в этой несуетливой покорности толпы гнездился и зрел бунт.

Самая неприятная опасность — это та, которую, не видя перед собою, чувствуешь спиной. Я чувствовал совершенно отчетливо, как вот сейчас чья-то рука подымется над толпой, липнущей к бортам машины, и ударит меня ножом в спину. Какой это, интересно, будет нож: армейский кинжал, уличная финка или широкий кухонный, шершавый от присохших крошек хлеба? Я мог бы поспешно подняться со своей скамейки и пересесть на запасное колесо на дне кузова, и тогда моя спина была бы защищена железной задней стенкой кабины и я получил бы возможность действовать автоматом

по своему усмотрению, в любом направлении перед собой. Но мне было позорно и скучно пересаживаться перед уставившейся на меня толпой, пересаживаться поспешно и проворно, и я остался сидеть, как сидел. Принадлежность к лучшей в мире армии не придавала мне гордости и радости. Только выбравшись из толпы на свободную дорогу, я вспомнил, что на мне пуленепробиваемый жилет.

Из джипа выскочил командир батальона и, размахивая руками, закричал:

— Назад! Очистить дорогу! Разойдись!

Но ливанская толпа, как и всякая другая толпа, была неуправляема и не думала расходиться. Комбат размахивал руками и наступал на толпу, а толпа только еле-еле прогибалась в том месте, где напирал комбат, но не вступала с ним в соприкосновение. Из комбатского джипа вышли вслед за своим командиром второй офицер и водитель и бегали вдоль фронта толпы, перегородившей дорогу. Толпа гомонила монотонно, сдвинуть ее с места, казалось, было невозможно — как невозможно муравью сдвинуть с места ком теста, приготовленного для выпечки хлебного каравая. Тогда комбат дал длинную очередь в воздух от бедра. Услышав выстрелы, второй офицер выдернул пистолет и тоже несколько раз выстрелил в воздух.

Мне почему-то, совершенно некстати, вспомнилась Сенатская площадь, толпа декабристов и генерал Сухозанет со своими пушками. Толпа тогда была рассеяна, побежала и многие погибли в давке.

Ливанская толпа, привычная к стрельбе, никуда не думала бежать. Мужчины и женщины глядели на стреляющее оружие без испуга и вообще без всякого выражения. Старухи и старики что-то бормотали и сплевывали. Реакция детей была удивительна: они вытянули головы и с удовольствием наблюдали за стреляными гильзами, золотым веером вылетавшими из комбатского автомата.

Комбат перестал стрелять, и второй офицер перестал. Толпа не показала испуга, но, сплотясь еще неразрывней, неровно попятилась. Комбат, размахивая руками, теснил ее, как стадо гусей.

— Бедный народ... — сказал водитель джипа, ставя на предохранитель свой автомат.

Сойдя с дороги, народ теснился по обеим ее сторонам, на обочинах. Дымя и грохоча, к нам подъехал бронетранспортер и остановился, развернувшись на месте. Из утробы бронетранспортера торчал наружу минометный ствол. Командир бронетранспортера сидел в командирском люке за крупнокалиберным пулеметом. Два пулемета поменьше были укреплены на броне. Порядок был восстановлен.

Окажись в этой толпе тот ливанец, что резал и потрошил барана — он, набив брюхо сладким бараньим мясом, укрылся бы, пожалуй, за каким-нибудь придорожным валуном и шмальнул из базуки по моей машине. Будь я на его месте, я, возможно, поступил бы так же.

С позиций "справедливого гнева" сторон этот акт можно было бы назвать террористическим, а можно — партизанским.

6. ТЕРРОРИСТЫ И ПАРТИЗАНЫ

Шлемофон лучше каски, в этом можно ничуть не сомневаться: он легче, он плотно облегает голову и не сползает на глаза. Ощущения полной безопасности прикрываемой им части тела он не дает — но не дает и каска. А что вообще дает ощущение абсолютной и полной безопасности? Может, какой-нибудь особый род безумия дает. Из зловонного болота или из адамова ребра, откуда бы он ни был, — но человека издревле преследуют опасности и всяческие неприятности, они следуют за ним на протяжении всей его жизни, крадутся на мягких лапах — отчасти выдуманные, в других случаях реальные. Безмятежное счастье не преследует человека — ни выдуманное, никакое.

Нахлобучив на голову серый шлемофон с оттопыренными дитячьими ушами, я стоял за пулеметом в бронетранспортере, рядом с другими солдатами. Чуть слева передо мной выростала из люка зеленая гибкая спина молодого командира. В шлемофоне, с рукою, положенной на большой пулемет, похожий на маленькую пушку, он был совсем не похож на того симпатичного двадцатилетнего очкарика, с которым мы четверть часа назад пили утренний кофе в столовой базы. Глядя на него, я подумал о том, что и я, должно быть, выгляжу сей-

час мужественно и дико — в шлемофоне, в бронетранспортере. Мужественность и дикость — необходимые черты портрета всякого образцового солдата всякой армии. Дикость универсальна, мужественность же имеет свои специфические оттенки в зависимости от национального характера и климатического пояса. Так, например, отборные солдаты одного из соседних с нами государств на параде, перед правительственной трибуной, со зверскими лицами жрали живых змей — и это должно было выглядеть вершиной мужественности. Мужественный человек обязательно должен быть обвешан оружием, устрашения ради, а если он при этом еще и пожирает змею — это просто замечательно и прекрасно. Мужественность почему-то прежде всего связана не с жизнью, а с неестественной смертью: "мужественно пасть в бою", "мужественно взглянуть в глаза палачу". Или вот те же змеи: ведь змея может изловчиться и укусить мужественного солдата прежде, чем мужественный солдат укусит змею. Смерть от змеиного яда, на благо родины — это тоже мужественная смерть.

Мы, израильтяне, в пищу змей не употребляем по целому ряду причин, одна из которых — несомненная некошерность змеиного мяса. Всякий армейский раввин, зорко следящий за кошерностью солдатских харчей, категорически воспротивился бы пожиранию змеятины, даже в сугубо пропагандистских целях. У нас есть другие средства, чтобы обнаружить свою мужественность. Плакаты, с которых смотрит

огненными глазами солдат с каменным подбородком, у нас не в ходу...

Итак, наш бронетранспортер, представляющий собой не что иное, как передвижную миникрепость, спускался по крутой лесной дороге с горы в долину. Был ранний час тихого погожего утра, долина еще спала. Посреди долины, на фоне черно-зеленой листвы большого сада, розовела черепичная крыша сооружения, похожего на замок. Приятно, должно быть, жить в таком роскошном доме, пить каждое утро кофе с молоком и свежим хлебом и, распахнув окошко, дышать воздухом сада... Дальность расстояния навевала такие приятные, литературно-помещичьи мысли. Дом под розовой крышей был образцовой кошарой какого-то богача. Этому богачу, поселившемуся то ли в Бейруте, то ли в Лондоне, принадлежала, по слухам, и вся долина впридачу. Вилла богача стояла в сосновом лесочке на склоне нашей горы, лавки там — и те были из мрамора. Это последнее обстоятельство придавало владельцу виллы дополнительный вес в глазах моего соседа по бронетранспортеру, солдата срочной службы Нисима: настоящий богач, по его мнению, должен сидеть только на мраморных лавках.

Дорога петляет по горному склону, в кронах деревьем по-курортному шумит утренний ветерок. Дорогу и долину хочется фотографировать для рекламных открыток: "Приезжайте, люди добрые, со всех концов света, глядите, какая тут красота и покой!". Мы ищем мины на до-

роге, ведущей в долину. Бронетранспортер ползет медленно, принаравливаясь к скорости движения нескольких солдат, шагающих перед нами и как бы составляющих наш авангард. Держа автоматы наперевес, солдаты внимательно всматриваются в каждый подозрительный предмет на дороге и на ее обочинах. В пыли дороги, то здесь, то там желто поблескивают россыпи стреляных гильз. Едва ли их разбросали тут шутки ради или от нечего делать стрелки, возвращающиеся с полигона. Гильзы не успели еще потемнеть, военные машины, курсирующие взад-вперед по этой дороге, не успели их расплющить. По краям дороги будничнo чернеют обрывки автопокрышек, указывающие на то, что именно здесь были обнаружены и обезврежены вражеские мины.

Идеологи войны любят порассуждать на темы "честный бой" и "военная хитрость". "Честный бой", на мой взгляд, понятие совершенно абсурдное — много ли чести в том, что незнакомые люди бросаются друг на друга, как дикие звери, с единственной целью: зарезать, задушить или застрелить. Постановка же мин относится к категории мелких военных хитростей: идет себе человек, и вдруг его разносит в клочья взрывом. Ничего не скажешь, хороша хитрость! К убийству из-за угла люди "незапятнанных военных мундиров", "люди чести" относятся несколько брезгливо. Но чем же постановка мин отличается от бандитского стояния "за углом" с камнем, ножом или пистолетом в руке?

Мины — самое популярное оружие на нынешнем этапе ливанской войны. Следом за минами идут засады — еще одна разновидность "военной хитрости": убить и убежать. Сеятели мин и участники засад — местные люди, недовольные создавшимся положением. Мы называем их террористами, а для их соотечественников или европейских единомышленников они — партизаны. Следует разобраться в этой нелепой мешанине понятий, настоенной на словоблудии и политической демагогии.

Казалось бы, определения достаточно понятны и ясны, во всяком случае, для нашего беспокойного района: террорист — это человек, проникший из-за рубежа с целью уничтожения гражданских объектов и нападения на гражданских лиц. Партизан — это человек, на территории собственной страны нападающий на военные объекты и живую силу армии, оккупирующей эту страну. Кровожадный террорист обречен на всеобщее презрение, кровожадный партизан, напротив, пользуется всеобщим уважением. Замешанные в конфликт стороны, однако же, по-разному трактуют действия террористов и партизан. Это немного похоже на деятельность агентов секретных служб: "У нас — разведчики, и они хорошие и благородные, а у них — шпионы, и они плохие и гадкие". Для нас, таким образом, ливанские партизаны — террористы, а мы для ливанских партизан — оккупанты. И кто тут прав, кто виноват? И чей гнев более справедлив, а чей — менее? Наш гнев на нашей стороне: мы не забыли ни жертв

Кирьят-Шмона и Маалота, ни нападенья на посла Аргова. Но ливанец, подкладывающий мину или стреляющий по нашему патрулю, едва ли думает о Кирьят-Шмона. Он думает о том, что мы в Ливане — чужаки и оккупанты. И если даже его науськивают против нас сирийцы или палестинцы — это не имеет никакого значения: в том жесточайшем и кровавом балагане, который называется партизанской войной, всегда кто-нибудь науськивает против кого-нибудь.

Партизанская война нарушает стройность того людоедского построения, которое называется войной законной. Партизаны как бы вмешиваются не в свое дело — разумеется, если взглянуть со стороны атакуемых ими. Партизанская группировка Дениса Давыдова, поэта и гусара, была для наполеоновских генералов бандой безжалостных и коварных разбойников. Я далек от проведения параллелей между нашими действиями и действиями германского вермахта в годы Второй мировой войны — но действия лесных партизан в России и Польше и городских партизан-сопротивленцев во Франции попортили немало крови и нервов немецким солдатам и офицерам. Для немцев они были — бандиты, их расстреливали и вешали. Для своих народов они были и остались символом сопротивления чужеземным захватчикам. Как всякий героический символ, их собирательный образ слегка подсахарен и припудрен, а образ их действий затушеван. Можно подобрать примеры и посвежей.

Думая над этим, я прихожу к выводу, что

прав был Фройка со своей утопической идеей: всякое убийство — террористическое, партизанское или военное — следует приравнивать к уголовному преступлению и судить преступников международным судом.

...Американцы молодцы: в их бронетранспортере совсем не трясет, ход машины плавный. Мы обогнули виллу с мраморными лавками и спустились в долину. До главной дороги оставалось метров восемьсот. Слева, вплотную к мелкому кювету, тянулись деревья яблоневого сада, и часть солдат нашего авангарда сходу нырнула туда, как в черный пруд: густой сад был идеальным укрытием для террористов или партизан, следовало проверить, что там творится, под кронами.

— Ты в Майкопе случайно никогда не был? — вдруг свалился на меня вопрос, как гром с ясного неба. Вопрос был задан на чистом сабрском иврите и исходил от другого моего соседа, плечистого стройного парня лет двадцати.

— В Майкопе? — неуверенно переспросил я. — На Кавказе? Был как-то, проездом...

— Майкоп — столица Черкессии, — пояснил плечистый. — Я черкес. Юсуф меня зовут.

Небольшая черкесская община перекочевала с Кавказа в Палестину почти полтора века тому назад. Черкесы, балкарцы, чечены. С чеченами я сидел в ссылке, то были отчаянные ребята. Когда в первый же день по приезде местные ссыльные жидоморы закидали нас камнями, чечены выловили метателей и поступили с ними негуманно. А наутро пришел один из чеченских

вожаков и сказал: "Вы евреи, это в вас вчера кидали камни? Когда нас сюда привезли, в нас тоже бросали камни. Но нас было много, а вас только одна семья... Больше в вас камни кидать не будут". Мне было тогда четырнадцать лет, а чеченскому вожаку лет семнадцать. Мы вскоре подружились, и эта дружба спасла нашу семью от многих неприятностей в ссылке.

— Был я в ваших местах, — сказал я, глядя на Юсуфа с приязнью. — В Гунибе был, в ауле Шамиля. Шамиль — знаешь?

— Нет, — сказал Юсуф. — Не знаю.

Мне было немного досадно, что Юсуф ничего не знает о Шамиле — храбрейшем горце, упрямо воевавшем с русским царем за свой Кавказ. "Тот не храбрец, кто задумывается над последствиями" — было написано на ордене, которым Шамиль награждал своих головорезов.

— Русские памятник поставили на том месте, где его взяли в плен, — сказал я. — Так вот, горцы, уже сколько раз этот памятник в пропасть скидывали... Имам Шамиль!

— Шамъиль! — радостно воскликнул Юсуф. — Ну, конечно, знаю! — Он произнес это имя точно так, как произносят в кавказских аулах — с твердым "м".

Мы еще поговорили с Юсуфом о Шамъиле, о кавказском пейзаже и о кабардинских конях. Юсуф любил коней и, как видно, знал в них толк.

— А ты о мамелюках что-нибудь слыхал? — спросил Юсуф. Мы засыпали друг друга вопросами, как будто не виделись много лет, а теперь вот внезапно встретились и у нас есть, чем

поделиться.

Я слыхал о мамелюках.

— Один египетский царь был мамелюк, черкес, — сказал Юсуф, и в голосе его прозвучала ослепительная кавказская гордость — как будто это он сам, Юсуф, или, на худой конец, его близкий родственник был бесстрашным мамелюкским генералом, никогда не задумывавшимся над последствиями и захватившим египетский престол.

Узнав о том, что я слышал кое-что и о генерале, а также люблю кавказскую похлебку хичин, Юсуф торжественно пригласил меня в свою черкесскую деревню на склоне горы Тавор.

Мы в это время как-раз миновали яблоневый сад и, увлеченные разговором, не заметили, как в бронетранспортер полетели какие-то предметы, один из которых угодил в мой шлемофон. То солдаты авангарда, скача, как серны ливанских долин, обстреливали нашу мини-крепость яблоками сада. Задание по проверке дороги на мины было выполнено. Водитель прибавил газу, бронетранспортер зарычал и помчался.

7. ЙОНЬКА

Вилла стоит на склоне хребтика, над дорогой. Позади виллы, из капониров и просто из природных щелей, гостеприимно торчат стволы самоходок. Танк выглядит куда угрюмей и мрачней самоходки, танковый ствол понур, он похож на лом в руках татарина-дворника, скалывающего желтый лед с московского тротуара. Не то самоходка. В ней есть что-то дурашливое, какая-та элегантная легкость, шик симпатичной юной поблядушки из предместья, щеголяющей в заграничных туфлях на высоком каблуке.

Вилла большая, там разместилась казарма, а в бывшей кухне устроил себе кабинет адьютант командира Йонька. Йонька двух метров роста, он тощ как щепка и узкоплеч, не успел еще обрасти каменным мужским мясом. Он движется рывками и нырками, внезапно и без всякой на то причины пригибая голову или роняя ее на плечо — как будто он не на воле, а в тесном для него танке, и вот боится треснуться башкой о какой-нибудь железный угол.

Кухня подстать вилле, огромная, с мраморным выщербленным полом. К стене прислонен высокий платяной шкаф с оторванными для удобства дверцами. На полках шкафа громоздятся пыльные груды канцелярских бланков

и бумажек. За грудами проживает полезная ящерка, днем она ловит мух, а по ночам — комаров. Ящерка вполне дикая, к солдатам с их шутками она относится критически и близко их не подпускает. Ящерку можно застрелить, но поймать — едва ли.

Йонькин Т-образный стол стоит посреди бывшей кухни. Справа от него глубокая мойка, там полно бумаг и книг. Книжками солдатской библиотечки тоже командует Йонька, они у него сложены в длинных деревянных ящиках из-под боеприпасов.

— Я все это разберу, — с воодушевлением говорит Йонька и гибкими пальцами пианиста указывает на бумажные джунгли. — Посмотри, пожалуйста, в ящиках, отложи мне, если найдешь что-нибудь интересненькое. Я читать очень люблю, только времени нет.

— Ладно, — соглашаюсь я. — Но ты мне койку какую-нибудь организуй, спать.

— Да-да, — говорит Йонька. — Я только на минутку... — Он вдруг срывается со стула и ныряет в дверь, как будто появилась у него внезапная естественная нужда и он побежал за угол — побрызгать.

Я открываю ящики с книгами. Вповалку и вперемешку лежат Агнон и Лев Толстой, Томас Манн и Чехов издания армейской библиотечки "Тармиль". С удовольствием обнаруживаю и свою книжку — как будто встретил в толпе доброго родственника. Кладу на Йонькин стол, рядом с пепельницей, сделанной из гильз и пулеметной ленты, Чехова, Гоголя и Достоевского,

и свою книжечку подбрасываю не без задней мысли: теперь можно жать на Йоньку куда сильней, сейчас он вернется и быстренько организует мне койку и, может, душ. Да и гимнастерку со штанами неплохо было бы поменять на свежий комплект.

В дверь заглядывает какой-то офицер, оглядывает комнату, спрашивает сердито:

— Йони уже ушел?

— Сейчас придет, — даю я справку.— он на минутку вышел...

— Придет он сейчас... — раздраженно машет рукой офицер. — Да он в полк уехал с командиром!

Значит, самому мне придется искать себе коечку. Может, это и к лучшему.

С веранды виллы видна предвечерняя долина, справа торчат на горе сирийские локаторы. По левой стороне, невдалеке, розовеет двуглавый христианский храм в сосновой роще. Сосны как две капли воды похожи на пинии, как будто их привезли сюда из Рима: на длинных стройных стволах грушевидные кроны, темные, почти черные. Никакого движения не видно возле храма — ни верующих, ни неверующих. Вот просто стоит в лесочке красивый, как украшенье, дом, и всегда он тут стоял, и все перестоит. И никакого он отношения не имеет к людям. К людям имеет отношение танк, едущий по дороге.

Хорошо и спокойно было сидеть на веранде и глядеть на арабо-еврейский мир. Но опускался вечер, вечер спускался на парашюте с про-

хладного неба, и мне следовало позаботиться об ужине и ночлеге: Йонька все не возвращался.

Перед столовой сидели под натянутой комуфляжной сеткой — соладты-резервисты. Устроившись в уголке со своей сигаретой, я стал свидетелем любопытного разговора, который, как мне кажется, стоит того, чтобы его тут воспроизвести.

— Во всем Голда Меир виновата, — продолжая тему, сказал водитель водовоза, мужчина лет сорока. — Это все она. Из-за нее война Судного дня началась, и эта тоже из-за нее. — Водовозник говорил убежденно, как будто речь шла о том, что дважды два — четыре, а земля имеет форму шара, а не куба.

— А чего она виновата? — лениво возразил пожилой кладовщик. — У нас всегда все не слава Богу. У нас, как ты ни крутись, каждые семь лет война, хоть с Голдой, хоть без Голды... Нет, Голда тут ни при чем.

— А что ж она сидела, когда надо было первым бить? — по ораторски взмахнул рукой водовозник. — А она сидела, котлеты свои жарила! Она и еще Пинхас Сапир.

— Ну, конечно! — усмехнулся кладовщик. — Вот если б она шуарму жарила или кябаб — это было бы дело другое...

— Не в том дело, что она жарила, — обошел политическую гастрономию здоровенный блондин, сидевший на лавке. Автомат он поставил между ног, а подбородком оперся о ствол, поэтому речь его текла медленно и тяжело. — В

этой стране наверху нужны военные люди, вот и все. А Голда даже разведданные читать не могла.

— А я что говорю! — с жаром согласился с блондином водовозчик. — Хоть бы она гефилте фиш варила — мне-то что? У меня у самого дочка с русским с одним ходит... Вот я и говорю: нам сильный человек нужен, такой, как рав Кахане. Я за него голосовал на выборах.

— Вот-вот, — сказал кладовщик и цыкнул слюною сквозь зубы. — Кахане котлет не станет жарить, он таких нам пирожков напечет!..

— А за него голосуют, за него голосуют! — вскинулся водовозник. — Вон русский этот, который с дочкой моей ходит, тоже за него голосовал!

— Русские все такие, — снял подбородок с автоматного ствола и покачал головою блондин. — Я по телевизору передачу одну видал, про русских — они все палку любят.

— Если Кахане к власти придет, — вступил в разговор молодой парень с сержантскими нашивками, — я следующую войну по телевизору буду смотреть. Из Австралии.

— Голосовать ногами, — проворчал кладовщик. — Это мы умеем, это каждый дурак умеет.

— Между прочим, зря эту войну ругают, — сказал водовозник. — Война как война. Это все журналисты проклятые — пускают их, куда не надо. А нам что? Мы в Синае пятнадцать лет сидели, и здесь пятнадцать лет просидим.

— Ну, ты и сиди, — сказал сержант. — А я не буду. Надоело.

Разговор был прерван появлением дежурно-

го по столовой.

— Давай, мальчики! — сказал дежурный. — Налетай!

Хлеб всегда утихомиривает страсти. Сначала хлеб, а потом уже политика.

Йонька вернулся. Как ни в чем ни бывало, вошел он в свой кабинет, где я демонстративно сидел на свернутом спальнике, на полу, как беженец на своем узле.

Вид у Йоньки был возбужденный. Он размахивал руками, вздрагивал и нырял почти на каждом шагу. Его вьющиеся жесткие волосы свисали, взгляд близоруких глаз блуждал. Он был похож на барана и одновременно на баранього стригаля.

— А, это ты... — сказал он, перешагивая через стул.

— Вот книги, — сказал я сквозь зубы. — Я отложил их для тебя.

Обнаружив мою книжечку в стопке, он пришел в еще большее возбуждение. Руки его с гигантскими плоскими кистями вздымались и опадали, как у балерины.

— Душ, — сказал я, не подымаясь с пола. — Душ и койку. — Про комплект одежды я позабыл.

— Сейчас и немедленно, — нырнул Йонька. — А разве ты еще не принял душ? Я думал, ты уже давно спишь.

— Где? — взревел я. — На лужайке?

— Но тут нет никакой лужайки, — не оценил моей иронии Йонька. — Одни камни. — И он пожал плечами, и это означало, что организовать лужайку — это уже не в его силах.

Мы вышли из виллы, и Йонька повел меня к душевой кружным путем, по козьей тропе. Можно было пройти и напрямик, и это путешествие заняло бы не более минуты — но Йонька предпочел козью тропу. Бормоча что-то под нос, он вывел меня к будке из гофрированного железа, прижавшейся одним бочком к огромному морскому контейнеру. Перед будкой торчала из земли, как чертов палец, печка — железная труба с бензиновой капельницей внизу.

— Вот душ, — сказал Йонька. — Я не спал уже три ночи.

— Почему? — поинтересовался я скорее из вежливости, чем любопытства ради.

— Принимаю дела, — сказал Йонька. — Я ведь здесь новый.

— А горячая вода есть? — спросил я у поворачивавшегося уже ко мне спиною Йоньки.

— А, верно... — сказал Йонька. — Надо печку разжечь.

Он нескладно опустился на корточки и принялся разглядывать капельницу, сухую, как ящерица пустыни. Это длилось довольно долго. Я ничуть не удивился бы, если б Йонька так, сидя, и заснул.

— Бензин где? — пошевелил я Йоньку разведочным вопросом. — Бензина нет.

Канистру нашли внутри будки, плеснули бензина в бачок.

— Ну, вот... — удовлетворенно сказал Йонька. — Ты умеешь ее зажигать?

— Нет, — сказал я. — Не пробовал.

— Газета нужна, — сказал Йонька и пожал

плечами.

Обрывки газеты обнаружили в мусорной куче, рядом с будкой. Затолкав газетный ком под капельницу, Йонька чиркнул зажигалкой. Бумага вспыхнула и сгорела дотла под одобрительным Йонькиным взглядом.

— Еще надо, — решил Йонька. — Мало...

Минут пять мы бились над печкой, как спасатели над утопленником, и ничего у нас не получилось.

— Давай солдата позовем, — предложил я, когда мусорные газеты были сожжены без остатка. — Вон один сидит.

Солдат, действительно, сидел на контейнере и наблюдал за нашими действами с большим интересом. На наш зов он спрыгнул на землю, вытащил из кармана рулон туалетной бумаги, отмотал добрый кусок, облил его бензином, открыл крантик капельницы до отказа и сунул горящую спичку в печную пасть. Печь дохнула драконьим пламенем и загудела, а солдат пошел прочь.

— Ну, вот, — облегченно сказал Йонька. — Теперь можно мыться.

Душевая была чистая, на четыре рожка. Мыла у меня не было, зато был кухонный порошок для мытья посуды, синего цвета. Завернутый в голубую пену, я почти блаженствовал под тяжелой струей — сами рожки-рассеиватели кто-то скрутил, а, может, их и вовсе никогда не было, и вода била прямо из трубы... Внезапно труба кашлянула и выплюнула крутой кипяток пополам с паром. Я, отпрыгнув со

всей резвостью, крутанул кран подачи холодной воды, но положение не изменилось ни на иоту. Соседний душ был рядом — только руку протяни. Я и протянул, и секунду или две струилась холодная водичка, только потом пошел кипяток без всяких примесей. Такой же странной конструкции оказался и третий душ, и четвертый: сначала секунда-две настороженного блаженства, а потом муки адовы. "От жажды изнываю над ручьем", черт возьми. Выход только один: скакать от душа к душу, от крана к крану, ловя эти самые две секундочки. Открыть кран, поймать холодные капли, закрыть кран, чтоб не обвариться. Переместившись к объекту № 2, открыть там. Потом — к третьему, и замкнуть круг на четвертом. И — снова-здорово... А скользко. А нелепо. А за гофрированной стенкой будки, набирая силу, громко и страшно воет печка, как перед взрывом. Не повезет — так и в бане не согреешься, но случается и наоборот... Закрутив проклятые краны и счищая с себя полотенцем ошметки кухонной пены, я рассуждал над тем, что на войне каждый выживает в одиночку.

Но ничего, в сущности, не произошло страшного. Совсем наоборот. И я решил закончить свой туалет бритьем. Зеркальца у меня не было, поэтому я брился наощупь, поглядывая время от времени на лезвие карманного складного ножа. Я, таким образом, проявил солдатскую смекалку, и это мне было приятно. Да, вот я сижу посреди Ливана, бреюсь и поглядываю на лезвие бразильского ножа с надписью "007", —

ну, и что в этом особенного? В Тель-Авиве, я вел бы себя несколько иначе, и это тоже никого бы не удивляло и было бы вполне естественно. А здесь, в Ливане, у меня есть нож "007" вместо бритвенного зеркальца, хлебно-луковый запас в кармане и реальная перспектива получить койку на ночь.

Койку я получил по соседству с Йонькиной, пустующей. Сам Йонька принимал дела — клевал носом над кучами бумаг и бумажек в своем кабинете. Мысленно пожелав ему покойной ночи, я уснул вполне безмятежно и, как всегда, без снов. Поэтому, разбуженный посреди ночи учебным грохотом самоходок, я не предположил ни на миг, что все это мне приснилось. Самоходки лупили по какому-то необитаемому квадрату в горах. Сначала выстрел, потом далекий разрыв, выстрел — разрыв: "Мы — здесь, мы — здесь"... В боевых частях я стрелял из орудий как раз этого калибра и одно время специализировался на дергании за шнурок по команде "огонь"! Рык тяжелых самоходок не производил на меня впечатления, но, услышав на фоне этого гвалта кашель какой-то легкой, незнакомой пушчонки, я насторожился: здесь, вокруг виллы, никаких пушчонок с таким голосом не было. Встревожились и мои соседи, они подымали сонные головы со сложенных наподобие подушек пуленепробиваемых жилетов и прислушивались. Потом зазвонил где-то телефон, кто-то кому-то что-то сказал и казарма вмиг опустела. Поднялся и я, и пошел выяснять, что случилось.

А случилось вот что. В деревне, в нескольких стах метрах от нашей виллы, играли свадьбу. Навряд ли гости перепились, это — едва ли. Но что-то они там не поделили, один из гостей расстроился и огорчился и, покинув веселье, отправился домой. Там он выкатил то ли из курятника, то ли из погреба припасенную на всякий случай легкую пушчонку, прицепил ее к мерседесу и поволок к дому пирующих. На зарядку и выстрел много времени не ушло. А, может, пушчонка эта была заряжена загодя, — тоже на всякий случай.

В результате этих агрессивных действий огорченного гражданина выявились убитые и раненые, и наш патруль в сопровождении кареты скорой помощи выступил на место происшествия — разнимать и оказывать братскую помощь.

Самоходки бьют куда сильней и дальше, а дурной пример заразителен.

Возвращаясь в казарму досыпать, я заглянул в Йонькин кабинет. Свесив патлатую голову и разметав руки и ноги, Йонька спал на своем столе. Ни наша канонада, ни артиллерийская затея обидчевого гостя не потревожили его сна. В конце концов, у каждого свои заботы, свои расчеты. Но почему Йонька не перешагнул на своих длинных ногах коридор и не лег на койку? Такой перешаг занял бы не больше времени и энергии, чем сбрасывание бумаг со стола и укладывание на нем.

Если бы мне было двадцать лет, я тоже, может быть, предпочел бы стол койке — для полноты жизни.

8. БАБОЧКА, ШАЛОМ!

Отсюда, из виллы, ставшей мне ненадолго родной, но не любимой, мне предстояло отправиться домой, в Израиль. Вот из этого самого коридора, который Йонька не перешагнул, на виллисе, который Йонька мне так и не организует. Пообещает организовать — и исчезнет "на минутку": уедет то ли в полк, то ли в дивизию, то ли еще куда.

Не зная об этом, но предчувствуя неладное, я расхаживаю по коридору. Красивая долина мне осточертела, мысленно я уже дома. Но я знаю отлично, что добраться от виллы до границы куда трудней, чем, скажем, перелететь из Тель-Авива в Лондон.

Время уходит. Нет ни Йоньки, ни виллиса. Одиноко стучит пулемет, отгоняя кого-то от базы. Над долиной пронеслось звено наших самолетов, развернулось и ушло за хребет. Спустя минуту сирийцы открывают беспорядочный огонь из пушек: реагируют. Я расхаживаю по коридору, рассматриваю стены. Стены исписаны замечаниями и призывами лирического характера, покрыты игривыми рисунками, какие можно встретить в мужских общежитиях и уборных Москвы, Тель-Авива и, наверно, Дамаска.

На обшарпанной стене коридора сидит бабочка. Она как бы приклеена к стене, крылья ее

распластаны — яркие, нежно светящиеся в затхлом сумраке коридора. Она вся — как радостная мозаика, как витраж в мрачной грязной стене. Откуда она сюда залетела? Я давным-давно не видел таких красивых бабочек. Какая там стреляная гильза! Вот прекрасный ливанский подарок для моего сына. Сейчас я аккуратно прижму ее ногтем к стене, удушу и положу в какую-нибудь коробочку. Ведь все равно вот-вот кто-нибудь пробежит по коридору, плюнет в нее шутки ради или, подпрыгнув ребячливо, раздавит ее солдатским башмаком.

Я протягиваю руку, дотрагиваюсь до нее и говорю:

— Лети-ка, бабочка, отсюда к едрене матери! Шалом!